

Проблема критики. — О критикѣ много говорятъ. Научная, импрессионистическая, формальная, какой методъ, какая цѣль. Все это бываетъ любопытно. Но поживъ, подумавъ, понаблюдавъ, и нисколько не повторяя Экклезиаста, видишь, что подлинная проблема критики, реальная, на самомъ дѣлѣ, — совсѣмъ другая. Теоріи рушатся: Буало, Лессингъ, Тэнъ, прахъ... Учитель гимназіи въ роговыхъ очкахъ пренебрежительно роняетъ: «*Taine, qui ne comprenait absolument rien...*», и онъ спокоенъ, ему нельзя сейчасъ ничего возразить. Критика поумнѣла, она не боится печально-неизбѣжнаго родства съ рецензіей, не уклоняется отъ оцѣнки, пристрастной и спорной, не играетъ больше въ научность, не «притворяется». Есть съ одной стороны, писатель, человекъ, сочинитель быть можетъ не Богъ вѣсть какой, но для котораго его писанія — все, вся жизнь. Онъ обливаема слезами надъ вымысломъ. Онъ не знаетъ, что написалъ, онъ знаетъ только то, что хотѣлъ написать. Онъ спасается въ литературу отъ небытія, онъ ощущаетъ осужденіе, и даже не полное одобреніе, какъ стремленіе его въ это небытіе столкнуть — будто съ мчащагося поѣзда. На другой сторонѣ — читатели, — пятьдесятъ тысячъ человекъ, скажемъ. Для нихъ конечно, пріятнѣе и полезнѣе, чтобы имъ не втирали очки и не старались ихъ увѣрить, что плохое — хорошо, бездарное — талантливо. Но пользы и пріятности каждому въ отдѣльности изъ нихъ достается мало. Имъ въ сущности почти безразлично, что говоритъ критика.

И вотъ, возникаетъ вопросъ: что же, нужно говорить правду, думая о пятидесяти тысячахъ мелкихъ мимолетныхъ удовольствій, которыя на противоположной сторонѣ складываются въ тяжелый ударъ, настолько иногда тяжелый, что читатели о длительной его «горестности» и понятія не имѣютъ; или не говорить, не договаривать правды, цѣной пятидесяти тысячъ обманчиковъ, раздраженницъ и недоумѣнницъ покупая одно удовлетвореніе — пусть даже одно спокойствіе. Кто рѣшить? Рокфелеръ до сихъ поръ думаетъ что лучше: роздать по доллару полмилліону человекъ или осчастливить одного только человека, но зато осчастливить вполне. И Пушкинъ сказалъ, — отвѣчая на вопросъ, зачѣмъ хвалить онъ Дельвига, кажется: «литература исчезнетъ, дружба останется».

---

Въ плоскости литературной, вопроса нѣтъ: надо говорить правду. Но въ литературу врывается жизнь со своими убѣдительными, страстными и серьезными доводами, — и пожалуй жизнь одерживаетъ верхъ.

Все таки надо было бы когда нибудь — для литературы — написать статью, начавъ ее приблизительно такъ: «ну, поговоримъ откровенно... такой-то, такой-то, такой-то». Кстати, выяснилось бы пожалуй, что много есть у насъ и дѣйствительно хорошаго, не различимаго теперь въ устоявшемся, однотонномъ туманѣ устоявшихся, однотонныхъ похвалъ.

Попытка доказательства безсмертія души. — Человѣкъ сидитъ, смотреть въ потолокъ, бездѣльничаетъ, думаетъ. Вотъ я пишу сейчасъ эти слова. Кто-то ихъ будетъ потомъ читать. Если въ миллиарды миллиардовъ вѣковъ мое сознание обречено жить только срокъ человѣческой жизни — т. е. мгновение — то какое же вѣроятіе, что вотъ сейчасъ, какъ разъ сейчасъ, насталь чередъ этой неизмѣримо-малой доли неизмѣримо огромнаго времени, — какъ будто угадана цифра изъ безконечнаго ряда ихъ? Для меня, это пишущаго, для васъ, это читающаго. Не естественно ли предположить, что если я себя сознаю сейчасъ, то я не могъ не быть всегда прежде и не могу не быть всегда впослѣдствіи, ибо — еще разъ, — какъ же допустить, что въ промежуткѣ между вѣчностью за мной и вѣчностью передо мной именно сейчасъ длится-мелькаетъ мгновение моего существованія? Не *cogito ergo sum*, а *ergo* былъ и буду всегда. Нельзя найти песчинку въ Сахарѣ, не перебравъ всего ея песка. Это иногда поражаетъ, какъ ясновидѣніе.

«Обратите вниманіе, евреи въ оркестрахъ всегда играютъ на скрипкѣ или на віолончели... Что имъ тромбоны, напримѣръ? Имъ надо, чтобы скрипка пѣла, изнывала, изнемогала, имъ выплакаться хочется».

Эти слова я слышалъ отъ одного знаменитаго музыканта, рѣдкоумнаго человѣка. Потомъ, вспомнивъ по какому то поводу о рожкѣ пастуха надъ умирающимъ Тристаномъ, онъ искренно и просто сказалъ:

— Нѣтъ, я теперь слушать это больше не могу.

Его вкусъ, его взгляды были мнѣ давно извѣстны. Они не могли меня удивить. Но удивило ихъ спокойно-стойкое, какое то «непоколебимое», не подлежащее пересмотру подтвержденіе. Помимо музыки, — о которой кто же рѣшится съ нимъ спорить, — въ чемъ дѣло? И почему

---

содрогается онъ, рассказывая о евреяхъ съ плачущей скрипкой въ рукѣ? Подумавъ, я вспомнилъ: онъ вѣрить въ Бога, онъ не сомнѣвается ни въ чемъ, — въ сущности онъ даже не вѣрить, — не то слово, — онъ знаетъ, что Богъ есть, что церковь во всемъ права, это тоже для него «не подлежитъ пересмотру»... И сразу все стало ясно. Ну, конечно, о чемъ же тогда плакать, и не кощунственно въ безнадежности своей звучить тристановскій рожокъ, если г л а в н о е извѣстно — и рѣшено положительно, — если отпадаетъ единственная и вѣчная причина всей человѣческой тоски, и въ будущемъ не тьма, а одни только желаннѣйшія соединенія, слянія, одна только полнота. Не отъ теперешнихъ же, не отъ здѣшнихъ несчастій плачетъ человѣкъ, не отъ какой нибудь житейской неудачи изнываетъ скрипка въ рукахъ бывшаго гомельскаго аптекаря, а бессознательно отъ тамошней неизвѣстности, отъ предчувствія, лопуха на могилѣ, отъ «стѣнки смерти», которую ничѣмъ не пробить. «И въ ночь идетъ, и плачетъ уходя». О непробиваемой ничѣмъ, никакъ, никогда, стѣнкѣ вспоминаетъ тристановскій рожокъ, обѣщая и обманывая, утѣшая и безжалостно разсѣивая иллюзіи... И конечно, для счастливыхъ «божьихъ дѣтей» это звуки ненужные, чуждые, грѣховные.

У нихъ иной строй, иной тонъ, — иной міръ, даже. Только какъ же рѣшаются они со своей недоступной, надменной высоты осуждать бѣдныхъ гомельскихъ и житомирскихъ скрипачей, и всѣхъ вообще, обойденныхъ, не виновныхъ въ своей отверженности, въ неумѣннн вѣрить и знать? Плачущія скрипки по своему это неумѣніе искупаютъ.

Когда человѣкъ слышитъ: «а есть а», онъ почти всегда, невольно, не отдавая себѣ отчета хочетъ сказать: «нѣтъ, а есть б...». Такъ возникаютъ разговоры, и думается «духъ противорѣчія» есть одно изъ неискоренимыхъ человѣческихъ свойствъ.

Дѣло повидимому въ томъ, что «а» никогда не бываетъ вполнѣ «а», что во всякомъ нашемъ отвлеченномъ сужденіи есть приблизительность, есть — по Тютчеву — ложь. Слыша и чувствуя это, человѣкъ стремится исправить ошибку, и самъ того не видя, дѣлаетъ ошибку еще большую. Но согласиться съ предложеннымъ сужденіемъ онъ дѣйствительно почти никогда не можетъ.

---

Ницшевское замѣчаніе о «писаніи кровью» — какъ оно ни опошлено, — сохраняетъ все таки всю свою глубину и всю силу.

Даже больше, — это непреложный законъ всякаго творчества — и если Владиміръ Соловьевъ со всѣмъ своимъ умомъ и талантомъ такъ померкъ для насъ теперь, то именно поэтому: нѣтъ крови, одни только чернила. Нельзя за это упрекать, но нельзя этого и исправить. Умъ вѣдь не отдѣлимъ въ подлинно-живомъ существѣ отъ сердца или воли, и совершенно также въ подлинномъ живомъ литературномъ творствѣ мысль связывается съ интонаціей и внутреннимъ ходомъ каждой фразы: «Книга написана прекраснымъ, образнымъ (или еще лучше: «сочнымъ») языкомъ» — есть великій абсурдъ, если рѣчь идетъ о настоящей литературѣ. И когда привыкнешь читать писанное кровью — Толстого, Розанова или Блока — то становится невозможно чтеніе «просто статьи», «просто стиховъ», какъ бы они блестящи ни были. Ничему въ нихъ не вѣришь. Написано черниломъ — обращено только къ разсудку: все остальное въ человѣкѣ недоумѣваетъ.

Много хуже, впрочемъ, писанія «подъ кровь», безчестныя и безстыдныя поддѣлки.

*продолженіе слѣдуетъ*